

«Да, были люди в наше время...»

Лермонтов и 1812 год

Сергей Иванович Кормилов,
профессор МГУ, доктор филологических наук

Школьный урок 1812 года — это не только история, но и литература. Лучшие образцы русской поэтической героики связаны с подвигами Отечественной войны. Для нас лермонтовское «Бородино» — это русская «Илиада». С этого стихотворения мы начинаем постижение отечественной классики. А «Илиада» веками была основой античного Просвещения, значит — и основой основ мировой школы. Мы надеемся, что в будущем в школьной программе по литературе русская поэтическая героика займёт подобающее ей место.



*М.Ю. Лермонтов.
Худ. П.Е. Заболотский. 1837 г.*

Как ни странно на первый взгляд, об Отечественной войне 1812 года в стихах лучше всех написал страстный поклонник французского императора. Наполеон был излюбленным героем романтической поэзии. В его образе нашла наиболее полное воплощение концепция величественной личности, как бы противостоящей всему миру и побеждаемой только роком.

Лермонтову интерес и уважение к фигуре Наполеона ещё в детстве привили французские гувернёры Капе и Жандро, служившие в его гвардии и оставшиеся в России после разгрома Великой армии. Но наряду с их рассказами мальчик мог слушать и рассказы тарханских крестьян, бывших во время Отечественной войны в ополчении. С детьми этих ополченцев он играл в войну, сохранились остатки сооружённых для этого земляных укреплений (выросший вместе с поэтом троюродный брат его Аким Шан-Гирей вспоминал: «В домашней жизни своей Лермонтов <...> занимался часто музыкой, а больше рисованием, преимущественно в батальном жанре, также играли мы

С.И. Кормилов. «Да, были люди в наше время...»

часто в шахматы и военную игру, для которой у меня всегда было в готовности несколько планов<...>» [1]). Отец Лермонтова, хотя вышел в отставку по состоянию здоровья в 1811 году, в 1812-м также был в ополчении [2]. «Если в рассказах отца поэта, возможно, могло не упоминаться имя одного из его родственников — Лермонтова, мичмана гвардейского экипажа, которому Барклай де Толли приказал взорвать мост на р. Колоча, то бабушка поэта, Елизавета Алексеевна, с гордостью называла двух своих братьев, Дмитрия Алексеевича и Афанасия Алексеевича, участников Бородинского сражения. Это были выдающиеся офицеры, имена которых упоминались в приказах по армии, встречаются в мемуарах с обычной для них лестной оценкой их личной доблести» [3]. Помимо их рассказов и других устных источников Лермонтов мог черпать сведения об Отечественной войне из уже многочисленных печатных [4].

Здесь основания двух подходов Лермонтова к теме, связанной с Наполеоном и его войнами: лично-романтического и патриотического, который тоже не чужд романтизму, впервые выдвинувшему принцип «народности».

Уже в первых двух лермонтовских стихотворениях «наполеоновского цикла» — «Наполеон» (1829) и «Наполеон (Дума)» (1830) — появляется главный образ будущего «Воздушного корабля». В более раннем стихотворении тень умершего на маленьком острове «героя дивного» предстаёт перед «певцом возвышенным», который воспевает его, ударя в струны арфы («оссианическая» деталь, соответствующая «оссианическому» пейзажу: «камень одинокой», «дуб возвышенный», волны, ночь и могила, которую Диана, то есть луна, «осребрила»). Наполеон не просто восхваляется, в «песне» он оказывается удивительной загадкой: «Зачем он так за славою гонялся? / Для чести счастье презирал? / С невинными народами сражался?», «Зачем шутил граждан спокойных кровью, / Презрел и дружбой и любовью / И пред творцом не трепетал?..» В нескольких словах затрагивает-

ся и тема 1812 года: «Ты побеждён московскими стенами... / Бежал!» О последующих поражениях Наполеона в Европе не говорится, то есть Лермонтов именно Россию изначально считает его победительницей, орудием высшей силы («Творец смешал неколебимый ум»). Для этого были объективные основания. «Гибель наполеоновской армии в России подняла мощную волну национально-освободительного движения в Западной Европе, окрыляя надежды английской дипломатии, начавшей энергичную работу по созданию новой коалиции против Франции. Эти предложения Англии нашли живой отклик в правительствах Пруссии, Австрии и России» [5]. Однако даже ещё в начале 1814 года не все они готовы были продолжать войну с Наполеоном до полной победы. Первой начала колебаться Австрия. «Между союзниками <...> продолжались дебаты по вопросу о возможности заключения мира с Наполеоном. Теперь уже и Пруссия проявляла склонность к переговорам. Но против этого возражал Александр I. Он даже заявил, что в случае отказа союзников Россия готова одна вести войну до конца. Союзникам не оставалось ничего другого, как продолжать войну» [6].

В первом стихотворении Лермонтова о разбитом императоре прежняя слава и страдания пленника воспеваются, но явившаяся певцу тень прогоняет его с любой песнью, «с хвалой или язвою упрёка». Наполеон «презрел» не только дружбу и любовь: «Я презрю песнопенья громки; — / Я выше и похвал, и славы, и людей!..» Наполеон хоть и «гонялся» (снижающая стилистическая неточность) за славою, но ставит себя выше её. Великая личность абсолютно самоценна, для такого человека всё высшее — в нём самом. Правда, «бессмертие» в веках остаётся неперменным критерием величия: «Пускай историю страстей / И дел моих хранят далёкие потомки». Стихотворение формально — лиро-эпическое, с персонажами, элементами действия, но, как обычно у Лермонтова, лирическое утверждение масштаба личности, который превышает даже масштаб её собственных великих дел, безусловно преобладает над рассказом о «событии» — явлении тени «певцу».

С.И. Кормилов. «Да, были люди в наше время...»

ночная мгла / На жатву страшную сошла, / Скирдами высились тела / Сражённных в этот день», «Три сотни пушек, озверев, / Извергли из горящих чрев / Потоки чугуна. / И за завесою огня / Пришпорил кирасир коня, / Уланы, пиками звеня, / Пошли, и, войско осеня, / Взметнулись знамена» (наряду с уланами упоминался и драгун: «Там кровь потоками лилась / И, в битву яростно стремясь, / Хлестал драгун коня»); был слышен «каждый звук, / Вливающийся в бранный рев, — / От зычных пушечных громов, / И крика дикого стрелков, / И лязга дикого клинков / До хрипа смертных мук...». Лермонтовского «вожда», а потом «полковника-хвата», призывавшего умереть под Москвой, предварял Веллингтон в «Поле Ватерлоо». «Одушевляя каждый полк, / Вождь восклицал: «Исполним долг / Пред Англией родной!». Однако был и реальный русский прецедент. Правда, не перед началом, а в разгар Бородинского сражения, после ранения Багратиона, «в командование над левым крылом русских войск вступил генерал Дохтуров. Он нашёл 2-ю армию истекающую кровью, но готовую драться до конца. Приняв команду, Дохтуров объявил войскам: «За нами Москва, умирать всем, но ни шагу назад» [12]. Отчасти В. Скотт предварял и строфику двух стихотворений о Бородине, сочетая 4-х и 3-стопный ямб и иногда увеличивая число смежно рифмуемых стихов с двух до трёх-четырёх [13].

Но это внешнее воздействие, притом отнюдь не механически усвоенное. Например, используя отдельные особенности рифмовки и метрики «Поля Ватерлоо», юный автор «Поля Бородина» (в несколько раз более короткого), по сути, трансформировал типичную для русской поэзии одическую строфу, состоящую из четверостишия и шестистишия (АБАБВВзДДз). Лермонтов добавил к шестистишию седьмой стих в конце строфы (зДДДз) и укоротил, как у В. Скотта, отдалённые друг от друга рифмующиеся стихи. Строфа стала сугубо оригинальной и строго выдержанной в отличие от английского образца. Главное же, Лермонтов не просто подражал поэту, чей авторитет в России был тогда едва ли не самым высоким по сравне-

нию с другими современными западными писателями. Русский юноша неявно, но определённо вступил в полемику с ним. Для Лермонтова было неприемлемо воспевание только последней победы над Наполеоном, одержанной в основном британцами, собственные шотландские корни (а Вальтер Скотт — шотландец) не мешали поэту быть русским патриотом, хотя и делали для него Британию отчасти «родной» (отсюда и отмеченные параллели, похожие на заимствования). Вальтер Скотт упоминал о русском походе Наполеона, о страшной переправе через Березину, о том, как «кричали яростно «ура!» / Донских степей сыны», но, по его мнению, «не так зловещ был возглас тот», как «мстительный и гордый крик» пруссаков, союзников англичан и голландцев, прорвавшихся в тыл наполеоновским войскам в битве при Ватерлоо. В. Скотт ставит победу в ней выше побед англичан над французами в Столетней войне XIV–XV веков:

*Да, можно Азенкур забыть,
Кресси в безвестности сокрыть,
Но, сколько б лет ни шло,
Уста молвы и песни звон
Расскажут людям всех времён
Про непреклонный Угумон
И поле Ватерлоо.*

Британский поэт даже часть сражения под Ватерлоо возвеличивает больше, чем старинные победы. «Первый, отвлекающий удар французов был направлен на правый фланг Веллингтона против замка Угумон. Французский корпус Рейля, пройдя лес на подступах к замку, бросился на штурм. Но стены укреплений оказались слишком высоки и неприступны, английская артиллерия и пехота вели убийственный огонь по нападавшим. Через некоторое время небольшая операция, затеянная поначалу как демонстративные действия, превратилась в отдельное жестокое сражение» [14].

В противоположность В. Скотту Лермонтов вряд ли считал справедливой войну новой коалиции против Наполеона, в 1815 году без единого выстрела вернувшего себе власть

Урок истории

во Франции. И для этого мнения тоже были основания. «Ведь что, собственно, произошло? Наполеон как суверенный властитель Эльбы выиграл войну с суверенным королем Франции; французская нация признала его своим главой, и сам он, не переставая, предлагал мир. Таким образом, его низложение было актом грубого насилия и вопиющим нарушением норм международного права. А война, на которую тотчас решились державы, чтобы раздавить Наполеона колоссальным превосходством сил, была обыкновенной реакционной войной, ведшейся в интересах династий, и не имела решительно ничего общего с интересами наций. Монархи боялись Наполеона, а главное, тех идей, которые несла на своих штыках его армия» [15]. Наполеон хоть и был «душителем» французской революции (и вместе с тем её беспорядков и жутких безобразий), но всё же далеко не в такой степени, как Бурбоны и вернувшиеся вместе с ними из эмиграции роялисты. Людовик XVIII решил сделать вид, что революции никогда не происходило, а империи не существовало, и исчислять время своего правления со дня кончины дофина в тюрьме Тампль. Другими словами, надлежало считать, что король взошёл на трон на двадцать третьем году своего правления, и датировать документы соответствующим образом. При Наполеоне награды полагалось заслуживать. Теперь же их можно было приобретать за деньги. Столь желанную для многих ленточку Почётного легиона, вручение которой ветераны предпочитали продвижению по службе и денежным наградам, можно было купить за сумму, эквивалентную приблизительно двадцати фунтам стерлингов. При Бурбонах только за период с августа по декабрь 1814 года кавалеров этого ордена стало гораздо больше, чем при Наполеоне за двенадцать лет его правления.

За шесть месяцев Реставрации популярность живущего на Эльбе изгнанника возрастала с такой быстротой, что это стало беспокоить <...> политиканов <...> и <...>

патриотов <...> Суды, руководствуясь линией правительства, выносили немислимые приговоры. Вернувшиеся из изгнания аристократы стремились отомстить за двадцать лет жизни в нужде и лишениях <...> и поэтому каждый юридический акт правительства определялся задетой гордостью аристократии, её стремлением отомстить обидчикам. Дворяне желали не просто покорности, они желали раблепия» [16]. Крайне чуткий к вопросам чести Лермонтов мог об этом по крайней мере догадываться.

После окончательного поражения Наполеона Священный союз установил политику реакции во всей Европе. «Поэтому уже в последние годы заточения Наполеона на Святой Елене его имя, в противоположность мелким низостям и преступлениям власти Бурбонов, беспощадной политической реакции и мракобесию Священного союза, стало обрастать легендами. В эту глухую пору имя Наполеона связывалось с борьбой за свободу, с бесспорными завоеваниями революции. Как антитезу Бурбонам, Меттерниху, Аракчееву, прославляли Наполеона Байрон и Мицкевич, Стендаль и Гейне, Лермонтов и Пушкин:

*Хвала!.. Он русскому народу
Высокий жребий указал
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал» [17].*

Пушкинская позиция, соединявшая романтический восторг перед великим человеком и гордость за свой народ, была, несомненно, близка Лермонтову.

Бурбоны были свергнуты окончательно Июльской революцией 1830 года. Новый король, из другой династии, сделал послабления бонапартистам. В частности, «приказал вновь водрузить на Вандомскую колонну статую Наполеона, снятую 15 лет назад» [18]. Но Лермонтов не был конъюнктурщиком. Наполеоновскую тему в своей поэзии он открыл годом раньше, во второй год систематического писания стихов.

С.И. Кормилов. «Да, были люди в наше время...»

В. Скотт в «Поле Ватерлоо» подчёркивал, что англичане стяжали величайшую славу. Совсем не то у автора стихотворений о Бородине. Если Наполеон в художественной концепции Лермонтова выше славы, то сражавшиеся с его армией русские в «Поле Бородина» сначала просто о славе не думают, столь велико психологическое напряжение боя: «Что Чесма, Рымник и Полтава? / Я вспоминая леденю весь, / Там души волновала слава, / Отчаяние было здесь», — говорит условный рассказчик, солдат, сначала артиллерист, ночью поднимающий голову с лафета (утром «от врагов удар неожиданный / На батареею прилетел»), а потом стреляющий из ружья, как пехотинец («Безмолвно мы ряды сомкнули...»), но в отечественной истории осведомлённый, как сам Лермонтов. «Противник отступил. / Но день достался нам дороже!» (весь XIX век господствовало ошибочное представление о том, что потери русских при Бородине превышали потери французов [19]). Опять «всеведение» рассказчика, слитого с самим автором, и вслед за тем романтический «натурализм», подчёркивающий тяжесть битвы и сильнейшее утомление её участника (романтический герой Лермонтова, как впоследствии Мцыри, наряду с огромным душевным напряжением испытывает и телесные страдания [20]): «В душе сказав: помилуй боже! / На труп застывший, как на ложе, / Я голову склонил». В «Бородине» надобности в таком эффекте уже не будет. Н. Бродский полагал, что это был и не эффект, буквально поняв слова из воспоминаний очевидца-артиллериста Николая Любенкова — о ночи после сражения: «Ночь провели на трупах и раненых» [21].

Зато когда психологическое напряжение в «Поле Бородина» спадает, слава является достаточным искуплением за страдания героя и гибель его товарищей.

*Однако же в преданьях славы
Всё громче Рымника, Полтавы
Гремит Бородино.
Скорей обманет глас пророчий,
Скорей небес потухнут очи,
Чем в памяти сынов полночи
Изглядится оно.*

Прямая переключка с финалом основной части «Поля Ватерлоо» очевидна. Для Лермонтова нет ничего вернее пророческого слова, он не сомневается в вечной красоте «очей» небес, но в данном случае вечность славы Бородина для россиян, «сынов полночи», как бы ещё несомненное. Если В. Скотт для сравнения использует победы англичан, то Лермонтов — победы русских, Суворова и Петра Первого (а перед этим ещё победу Алексея Орлова над турками на море при Чесме), они для него такой же эталон, как битвы под Азенкуром и Кресси для британца. Патриотическая идея перевешивает личностную, как она представлена в «наполеоновском» варианте: русские войны не «выше» славы, зато их слава выше любой другой.

Н. Бродский присоединяется к предшественникам, писавшим о недостатках «Поля Бородина» и в особенности о неясности образа его героя-рассказчика: «Не то он рядовой («Мы... штыки вострили»), не то офицер, недавно прочитавший шестую главу «Евгения Онегина» («Я спорил о могильной сени»; ср. у Пушкина: «Заспорят о могильной сени»), запомнивший пушкинские рифмы в «Полтаве» (в сноске: *сомкнули — пули. — С. К.*) и вообще привыкший к книжной речи («отчизны в роковую ночь», «в памяти сынов полночи»)» [22]. И хотя лермонтовский «вождь» сказал «перед полками» то же, что потом в «Бородине» «полковник-хват», только перед теми своими солдатами, которые могли его видеть и слышать: «Ребята, не Москва ль за нами? / Умрёмте ж под Москвой, / Как наши братья умирали», — хотя элемент будущей лермонтовской народности здесь уже проглядывает, всё-таки разница между «Поле Бородина» и его позднейшей переработкой огромна благодаря совершенно иному рассказчику. Это «дядя» для молодого солдата; последний не всеведущ, о Бородине только что-то слышал и хочет услышать о нём от очевидца. В характере «дяди» нет ничего от романтического гордого одиночки. Ему есть чем гордиться, но это гордость за своих товарищей и всё своё поколение. «Только раз он упомянул о своём участии в битве, и то задолго до неё — это

Урок истории

когда «забил заряд» он «в пушку туго». Весь его рассказ — не о себе, а о других; он тонет в единой солдатской массе: «на наш редут», «перед нами», «наш бой», «наши груди», «считать мы стали раны» — с глубоким реализмом Лермонтов рисует бой, а не бойцов и не бойца, изображает общее, а не частное <...> А в «Поле Бородина», наоборот, коллектив отсутствовал, а было надоедливо-преувеличенное, романтически-напыщенное «я, я, я»: «я, вспомя, леденюя весь», «перекрестился я», «мой пал товарищ», «душа от мщения тряслася и пуля смерти понеслася из моего ружья», «я спорил о могильной сени». Всё это «яканье», разрушающее монолитность картины боя, вытравлено поэтом» [23].

Уже в стихотворении «Два великана» (1832) военное столкновение России и Франции, произошедшее двадцать лет назад, аллегорически представлено в виде борьбы «старого русского великана» и дерзкого «трёхнедельного удальца» (намёк на кратковременность существования наполеоновской империи). «Русский витязь», воплощающий Россию и её народ, справляется с чужаком легко: «Посмотрел — тряхнул главою... / Ахнул дерзкий — и упал!» Витязь здесь не исключительная личность романтиков и вообще не личность, Лермонтов имеет в виду страну в целом. И это тоже подготавливало «Бородино».

«Старый русский великан» в аллегорическом стихотворении предстаёт «в шапке золотая литого». По-видимому, Россия здесь напрямую ассоциируется с колокольной Ивана Великого, увенчанной золотым куполом. Именно с неё наблюдал Лермонтов панораму Москвы, которую описал в юнкерском сочинении (1834) по заданию преподавателя словесности В. Плаксина, хотя, как предполагает комментатор, «идея дать описание Москвы с наивысшей точки — колокольни <...> Ивана Великого — навеяна главой «Париж с птичьего полёта» из романа Гюго» [24], тогда особенно шумевшего, — «Собор Парижской Богоматери». Такое влияние, если оно и было, не помешало Лермонтову проявить свой патриотизм: «К югу, под горой, у самой

подошвы стены кремлевской, против Тайницких ворот, и за нею широкая долина, усыпанная домами и церквями, простирается до самой подошвы Поклонной горы, откуда Наполеон кинул первый взгляд на гибельный для него Кремль, откуда в первый раз он увидел его вещее пламя: этот грозный светоч, который озарил его торжество и его падение! <...>

Что сравнить с этим Кремлем, который, окружась зубчатыми стенами, красуясь золотыми главами соборов, возлежит на высокой горе, как державный венец на челе грозного владыки?..

Он алтарь России, на нём должны совершаться, и уже совершались многие жертвы, достойные отечества... Давно ли, как баснословный феникс, он возродился из пылающего своего праха?!..»

Здесь же юный Лермонтов, уже переехавший в Петербург, обнаружил хорошее знакомство с историей восстановления Кремля, частично взорванного при уходе из Москвы войсками Наполеона. Не названа, но точно описана угловая Водовзводная башня и перспектива за ней: «На западе, за длинной башней, где живут и могут жить одни ласточки (ибо она, будучи построена после французов, не имеет внутри ни потолков, ни лестниц, и стены её расперты крестообразно поставленными брусьями), возвышаются арки каменного моста, который дугою перегибается с одного берега на другой».

Пожар Москвы поэт ставил в один ряд с Бородином. «Два события — Бородинское сражение и пожар Москвы — вызывали в Лермонтове чувство особой гордости за свой народ в его борьбе за национальную независимость» [25]. В драме юного Лермонтова «Станный человек» (1831) на вопрос: «Господа! Когда-то русские будут русскими?» — студент Заруцкой отвечает: «А разве мы не доказали в 12 году, что мы русские? — Такого примера не было от начала мира! — мы современники и вполне не понимаем великого пожара Москвы; мы не можем удивляться

С.И. Кормилов. «Да, были люди в наше время...»

этому поступку; эта мысль, это чувство родилось вместе с русскими; мы должны гордиться, а оставить удивление потомкам и чужестранцам. Ура! господа! здоровье Пожара Московского!».

Весь Кремль олицетворён в «нравственной поэме» «Сашка» (1835 или 1836 год). Несмотря на «приземлённость» её содержания, в ней выделяется лирико-патетическое отступление о Москве («Москва, Москва!.. люблю тебя как сын, / Как русский, — сильно, пламенно и нежно!»), по сути перелагающее более медленным и в данном случае торжественным 5-стопным ямбом лёгкий 4-стопный хорей «Двух великанов» (напомним, что слова «Ты побеждён московскими стенами» сказаны ещё в самом первом стихотворении о Наполеоне). В VII строфе «Сашки» говорится о Кремле как богатыре-великане:

*Напрасно думал чуждый властелин
С тобой, столетним русским великаном,
Померяться главою и обманом
Тебя низвергнуть. Тщетно поражал
Тебя пришлец: ты вздрогнул — он упал!*

Н. Бродский дал изложение отрывка, который тогда бесосновательно (ЛЭ, с. 498) считался второй главой «нравственной поэмы»: «Описывая барский дом на Пятницкой улице, уцелевший в 1812 г. от бушевавшего в Замоскворечье пожара, Лермонтов возвращался к военным событиям той поры и после характерной детали («круглого стола на витых ножках, вражеской рукой исчерченного») рисует яркими фактами крушение наполеоновского похода, «падение» того, «кто нам грозил и пленом и стыдом», и славу священного Кремля.

*...жалок и печален
Исчезнувших пришельцев гордый след.
Вот сабель их рубцы, а их уж нет.
Один в бою упал на штык кровавый,
Другой в слезах без гроба и без славы.
Ужель никто из них не добежал
До рубежа отчизны драгоценной?
Нет, прах Кремля к подошвам их пристал,
И русский бог отмстил за храм священный...*

*Сердитый Кремль в огне их принимал
И проводил, пылая, светоч грозный...
Он озарил им путь в степи морозной -
И степь их поглотила...*

Так поэт, охваченный историческими воспоминаниями, неоднократно в своих стихах воссоздавал героические события минувших лет» [26]. Но осваивая эту тему, высшего уровня художественности Лермонтов достиг только в «Бородине».

В классическом стихотворении у солдата-рассказчика нет, в отличие от «Поля Бородина», одного товарища, который накануне боя, «вспоминая прежние годы», «не слышал» обращённого к нему романтического призыва: «Брат, слушай песню непогоды: / Она дика как песнь свободы!» (что это за свобода, остаётся тёмным, как описываемая ночь). В «Бородине» старый артиллерист выступает от имени всей русской армии. «Только три раза ветеран 1812 г. употребил личную форму я, потому что иначе нельзя сказать о своём индивидуальном поведении («забил заряд я в пушку туго и думал: угощу я друга!», «прилеж вздремнуть я у лафета»), во всех остальных случаях звучат в его словах «наше время», «наш бивак», «наш редут», «полковник наш», «наш бой», «мы были в перестрелке», «умереть мы обещали», «все промелькнули перед нами», «считать мы стали раны» и т.д.» [27]. Даже местоимение «мы» в четвёртой строфе исчезает: «И вот нашли большое поле», «Построили редут».

Собственно сражению в «Бородине» уделено всего три строфы из четырнадцати, тому, что непосредственно предшествовало битве, — целых шесть, вдвое больше (от «И вот нашли большое поле» до «И клятву верности сдержали / Мы в Бородинский бой»). Напряжение томительного ожидания, подготовленного долгим отступлением и ропотом «стариков»-ветеранов («Не смеют что ли командиры / Чужие изорвать мундиры / О русские штыки?» — отголосок разговоров об измене командования, приглушённый, так как это могло бы стать отклонением в частную тему), разрешается чрезвычайно энергичной

Урок истории

и динамичной батальной картиной, для которой как бы и не нужно много слов, настолько выразительно то, что сказано, и настолько значимо само по себе то, о чём сказано. Строфа по сравнению с «Полею Бородина» сокращена, отброшено начальное четверостишие и с ним возможность ассоциаций с одической строфой, оставшиеся оригинальные и компактные семистихия часто выделяют укороченный последний, седьмой стих после тройной рифмы (затягивание перед лапидарной концовкой): «Все побывали тут», «Гора кровавых тел», «Слились в протяжный вой...» Первая из трёх батальных строф посвящена атакующим французам, вторая («Вам не видать таких сражений!...») — кульминации битвы, когда бойцы и кровавые тела перемешались между собой и говорится обо всех сражающихся, русских и французах, без их разделения; третья строфа продолжает вторую, но в её начале вновь называется враг, который теперь получил заслуженное: «Изведаль враг в тот день немало, / Что значит русский бой удалый».

В рассказе «дяди» есть элемент его солдатского «профессионализма». «Повсюду стали слышны речи: / «Пора добратся до картечи!» — то есть до пальбы пакетами рассеивающихся пуль, которыми стреляли по рядам атакующего неприятеля с довольно близкого расстояния [28]. Однако этот солдат отнюдь не сосредоточен на выполнении своего прямого дела, на том, как он заряжал пушку и стрелял. Он словно забыл, что он артиллерист, и выделяет «наш рукопашный бой!...». Конечно, в Бородинском сражении рукопашные схватки не раз возникали и на батареях, но рассказчик знает и то, что «рука бойцов колоть устала», как бы перевоплотился в пехотинца. Даже единственный показанный в стихотворении командир, «полковник наш», погибающий в рукопашной, выглядит командиром не батареи, а скорее выстроившегося пехотного полка. Здесь это не противоречие, как в «Поле Бородина», а естественное обобщение. Рассказчик не сливается с автором так, как это было в стихотворении начала 30-х годов, но его кругозор всё же гораздо шире возможного для рядового уча-

стника битвы. «Залпы тысячи орудий» — безусловно, обобщение, но названная цифра весьма близка к числу действительно участвовавших с двух сторон в Бородинском сражении орудий. Тем не менее в «Бородине» «Лермонтов впервые в нашей литературе передал герою из народа раскрытие исторического события всемирного значения» [29]. И хотя в «Войне и мире» Толстого Бородинское сражение описано гораздо подробнее и дано глазами различных персонажей — меньше всего солдат — и самого автора, в романе-эпопее выражен во многом народный взгляд на происходящее, народ выступает хранителем истины и нравственности, поэтому Толстой и мог сказать (в беседе с С. Дурылиным) о Лермонтове: «Его «Бородино» <...> это зерно моей «Войны и мира» [30]. Сам зачин без всякой экспозиции, разговор, лишённый предварительных пояснений автора относительно того, кто говорит, использован в книге Толстого.

Народность лермонтовской поэзии бесспорна. Поэт старался найти соответствующие формы её воплощения, что высоко оценили современники. По мнению Белинского, «стихотворение отличается простотою, безыскусственностью: в каждом слове слышите солдата, язык которого, не переставая быть грубо простодушным, в то же время благороден, силен и полон поэзии» [31]. В тексте немало разговорных и просторечных слов и выражений — и в обращении молодого солдата («Москва, спаленная пожаром», «схватки боевые»), и в монологе «дяди»: «Плохая им досталась доля», «досадно было», «ворчали старики», «Есть разгуляться где на воле!», «У наших ушки на макушке!», «угощу я друга!» (народная ирония в отношении недруга с отдалённым намеком на свойственное фольклору и древней литературе сопоставление битвы и пира), «Два дня мы были в перестрелке. / Что толку в этакой безделке?», «Прилеж вздремнуть я у лафета», «Ну ж был денек!», «Смешались в кучу кони, люди», «Были все готовы / Заутра бой затеять новый / И до конца стоять...» Оба солдата, старый и молодой, называют французов собирательно —

С.И. Кормилов. «Да, были люди в наше время...»

«француз». Особенно характерно выражение «Драгуны с конскими хвостами». Плюмаж из конского волоса на касках у французов был длинным в отличие от короткого, торчащего у русских, и в восприятии безыскусственного человека он превратился просто в конские хвосты. Эта беглая, но всё-таки по-своему выразительная характеристика неприятеля, а не только отмеченная деталь военной формы.

Тем не менее Белинский слишком категорично заявил, что солдат слышен «в каждом слове», и художественные принципы толстовского батализма больше восходят к лермонтовскому «Валерику» (1840), чем к «Бородину». В нём связь с «Полем Бородина» и вообще с романтической поэтикой отнюдь не прервана. «...»

Лермонтовский шедевр написан в преддверии празднования 25-летней годовщины Отечественной войны и Бородинского сражения. Понятно, что в нём не могло быть высокого образа Наполеона, и потому Наполеона в нём вовсе нет. Для солдата неприятель — просто «француз» и даже «брат мусью». Вместо рока, как бы единственного победителя Наполеона, — «господня воля» на сдачу Москвы, мотивировка чисто народная. Об этой сдаче говорится трижды: в вопросе молодого солдата, в начале и конце монолога «дяди». О конечной победе над французами речи вообще нет. Подобно фольклору и старинному литературному эпосу героика здесь состоит уже в самой постоянной готовности к подвигу всего народа или богатыря как его полноправного представителя, аккумулирующего в себе народные силы (что было уже в «Двух великанах»). Сражение — лишь подтверждение этой готовности, демонстрация этих сил. В «Бородине» Лермонтов является эпическим поэтом больше, чем в любой из своих поэм. Хотя собственный голос автора пробивается в словах рассказчика, не он герой стихотворения, а «богатыри», противопоставляемые современникам, людям иной эпохи, для которой окажется характерен совсем иной герой.

Здесь кроется существеннейшее отличие позиции Лермонтова от традиционного геро-

ического, эпического сознания. В «Бородине» в противоположность «Полю Бородина» или «Сашке», где о Кремле сказано: «Величавый, / Один ты жив, наследник нашей славы!», — абсолютно отсутствует мотив славы, необходимый в древнем эпосе (и также отсутствующий, точнее, подаваемый в негативном плане, в романе-эпопее Толстого).

В «Бородине» лермонтовские богатыри думают не о славе, а стоят «за родину свою!» без каких-либо мыслей о прижизненном или посмертном воздаянии. Уже здесь, а не только в «Родине» (1841) «слава, купленная кровью», или во всяком случае её внешние проявления «не шевелят <...> отрадного мечтания» в поэте. Для него гораздо важнее противопоставление поколений, которое есть и в древнем эпосе (тоже в пользу старших), но там просто само собой разумеется, а не подчёркивается как главная идея. «...»

Наполеоновская тема из этой лирики не была вытеснена темой патриотической. Видимо, вскоре после «Поля Бородина», в 1831 году, к десятой годовщине смерти Наполеона, написано довольно короткое, но более совершенное, чем первые опыты, стихотворение «Св. Елена» («Почтим приветом остров одинокой...»): Наполеон в месте своего последнего заточения, как было в «думе» о нём и будет в «Воздушном корабле», часто вспоминает «на берегу о Франции далёкой». Но потерявшая былое величие, отрёкшаяся от своего героя Франция оказывается недостойной его: «Порочная страна не заслужила / Чтобы великий жизнь окончил в ней». По-прежнему он предстаёт жертвой «рока прихоти слепой», но также и «вероломства» (параллель в «Воздушном корабле»: «И маршалы зова не слышат: / Иные погибли в бою, / Другие ему изменили / И продали шпагу свою», — как и вообще безответность призывов императора).

Обречённость Наполеона, скоротечность его славной истории («Родился он игрой судьбы случайной, / И пролетел как буря мимо нас») объясняются тем, что «он миру чужд был» и «всё в нём было тайной», но величие его

Урок истории

сомнению не подвергается: «Погиб как жил — без предков и потомства — / Хоть побеждённый, но герой!» В 1840 году эта тема побеждённого, но сохранившего всё своё достоинство героя найдёт воплощение в «Пленном рыцаре». «...»

Но чем выше русский поэт ставил личность Наполеона, тем выше оценивал он победу, одержанную его народом над наполеоновской Великой армией в 1812 году.

Примечания

1. Воспоминания разных лиц о М.Ю. Лермонтове // *Лермонтов М.Ю.* Полн. собр. соч. в 10 тт. Т. 10. М.: Воскресенье, 2002. С. 446.
2. См.: Лермонтовская энциклопедия. Главный редактор В. А. Мануйлов. М.: Советская энциклопедия, 1981. С. 242. Далее ссылки на это издание даются в тексте с обозначением ЛЭ.
3. *Бродский Н.Л.* «Бородино» М.Ю. Лермонтова и его патриотические традиции // *Бродский Н.Л.* Избранные труды. М.: Просвещение, 1964. С. 127.
4. Там же. С. 131–134.
5. *Бешанов В.В.* Шестьдесят сражений Наполеона. Минск: Харвест, 2000. С. 388. Хотя мне придётся не раз ссылаться на эту книгу, замечу, что она компилятивна, что порой в ней встречаются незаковычленные чужие фразы.
6. *Бешанов В.В.* Указ. соч. С. 432.
7. В 1830 году написано и стихотворение «К***» («Не говори: одним высоким...»), где величие ставится в зависимость от «мнения людей»: «Сверши с успехом дело злое — / — Велик; не удалось — злодей...» (предвосхищение «теории» Раскольникова, восходящее, в свою очередь, к «Каину» Байрона). Примером служит судьба Наполеона. «Среди дружин необозримых / Был чуть не бог Наполеон; / Разбитый же в снегах родимых / Безумцем порицаем он....». Слава родины, «снегов родимых» не исключает осуждения «безумца», то есть неумного человека. «...Внимая шум воды прибрежной / В изгнание дальнем он погас — / И что ж? — конец его мятежный / Не отуманил наших глаз!..». Показательно, что такой конец Наполеона для Лермонтова всё равно «мятежный» — высшая положительная оценка.
8. *Бродский Н.Л.* Указ. соч. С. 133. Комментатор также находит во втором стихотворении Лермонтова на «шотландскую» тему (первое — «Гроб Оссиа-

на», 1830) — «Желании» (1831) — «некоторое влияние «Томаса Стихотворца», части третьей, собственного сочинения Скотта, которое он добавил к балладе в «Менестрелях шотландской границы» (*Лермонтов М.Ю.* Указ. изд. Т. 10. С. 387). Томас Лермонт по прозвищу Стихотворец, или Рифмач, — предок Лермонтова (там же, с. 361–364).

9. Там же. С. 142.

10. *Панаев И.И.* Литературные воспоминания. Л.: Гослитиздат, 1950. С. 136–137.

11. См.: «Свободной музы приношенье...». Европейская романтическая поэма. М.: Московский рабочий, 1988. С. 70–86.

12. *Бешанов В.В.* Указ. соч. С. 337.

13. Н. Бродский писал: «И.Н. Розанов отметил, что строфы, представляющей из себя одиннадцатистишие, какой было написано «Поле Бородина», нет ни у Жуковского, ни у Пушкина, ни у Байрона («Лермонтов — мастер стиха». М.: Советский писатель, 1942, стр. 43)» (*Бродский Н.Л.* Указ. соч. С. 142). Либо ни И. Розанов, ни Н. Бродский не знали о поэме В. Скотта (впрочем, предварившей строфу Лермонтова не буквально), либо последний, впервые напечатавший свою большую статью в 1948 году, в период «борьбы с космополитизмом», побоялся назвать британского предшественника русского поэта даже при том, что тот с ним фактически прямо спорил.

14. *Бешанов В.В.* Указ. соч. С. 476.

15. Там же. С. 463–464.

16. *Делдерфилд Р.Ф.* Маршалы Наполеона. Исторические портреты/ Пер. с англ. Л.А. Игоревского. М.: Центрполиграф, 2001. С. 365–366.

17. *Бешанов В.В.* Указ. соч. С. 507–508 (как и многое другое, почти дословно списано из кн.: *Манфред А.З.* Наполеон Бонапарт. М.: Мысль, 1972. С. 707–708).

18. Там же. С. 508.

19. Французский источник этой дезинформации восходит к самому дню сражения. «Наполеону доносили настойчиво и из разных пунктов, что потери русских гораздо больше, чем французов, что русские не сдаются, а гибнут до последнего» (*Тарле Е.В.* Наполеон. С. 271). Современный компилятор цитирует неназванного историка: «Под Бородином русских выбыло из строя 58 000 человек, половина сражавшейся армии» (*Бешанов В.В.* Шестьдесят сражений Наполеона. С. 343). Такие потери скорее могли быть у французской, атакующей стороны, которая обычно теряет в бою гораздо больше, чем обороняющаяся. По данным Большой советской энциклопедии, они потеряли именно 58 000 солдат и офицеров и 47 генералов.

С.И. Кормилов. «Да, были люди в наше время...»

20. См.: *Фишер В.М.* Поэтика Лермонтова // Венюк М.Ю. Лермонтову. Юбилейный сборник. М.; Пг., 1914. С. 210, 228; *Максимов Д.* Поэзия Лермонтова. Л.: Советский писатель, 1959. С. 244, 288, 299.

21. *Любенков Н.* Рассказ артиллериста о деле Бородинском. СПб., 1837. С. 51; *Бродский Н.Л.* Указ. соч. С. 140.

22. *Бродский Н.Л.* Указ. соч. С. 141.

23. *Дурьлин С.* Как работал Лермонтов. М., 1934. С. 31–32.

24. *Лермонтов М.Ю.* Указ. изд. Т. 9. С. 147.

25. *Бродский Н.Л.* Указ. соч. С. 136.

26. *Бродский Н.Л.* Указ. соч. С. 150. Цитаты приводятся Бродским не совсем точно.

27. *Бродский Н.Л.* Указ. соч. С. 171.

28. «Наибольшая дальность стрельбы из пушек достигла 2300 метров, из единорогов — 1800 метров. Практически дистанция действительного огня составляла 860 метров, для картечи — 350 метров» (*Бешанов В.В.* Указ. соч. С. 293–294).

29. *Бродский Н.Л.* Указ. соч. С. 122.

30. *Дурьлин С.Н.* На путях к реализму // Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова. Исследования и материалы. Сб. 1. М.: Гослитиздат, 1941. С. 186.

31. *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч. в 13 тт. Т. IV. М.: АН СССР, 1954. С. 503–504.

